**Трактат о Нарциссе (теория символа)**

Андре Жид

*Посвящается Полю Валери*[[1]](#footnote-1)

*Nuper me litiore vidi*[[2]](#footnote-2)

Книги, наверное, вещь не самая необходимая; внача­ле довольно было нескольких мифов; в них заключа­лась вся религия без остатка. Народ дивился внешнему обличью басен и, не понимая, исполнялся благоговения; жрецы, сосредоточенно склонившись над глубинами образа, шаг за шагом проникали в сокровенный смысл иероглифов. Потом люди захотели заняться толковани­ем; в книгах границы мифов расширились; — но по-прежнему нескольких мифов было довольно.

Среди них миф о Нарциссе: *Нарцисс наделен был со­вершенной красотой — и потому целомудрен; он пре­небрег нимфами, — ибо влюблен был в самого себя. Да­же малейший ветерок не возмущал вод источника, в ко­тором, склонившись, безмятежно созерцал он целый день свое отражение... —* Вы знаете, что случилось даль­ше. И тем не менее мы расскажем эту историю еще раз. На свете все уже сказано; но никто не слушает, и поэ­тому надо постоянно начинать все сначала.

Нет больше ни берега, ни источника; нет метамор­фозы и нет отраженного водою цветка; — итак, нет ни­чего, кроме Нарцисса, одного только мечтательного Нарцисса, что выделяется на бесцветном сером фоне. Погруженный в однообразие бесполезных часов, он ис­

пытывает беспокойство, он вопрошает себя в сердце своем, полном сомнения. Он хочет наконец узнать, ка­кую форму имеет его душа; судя по долгому ее трепе­танию, она должна быть, он чувствует, достойна беско­нечного благоговения; но какое лицо у него? его образ! Ах, не знаешь даже, любишь ли сам себя... не ведаешь собственной красоты! Я растворяюсь в этом непрочер­ченном, лишенном контрастов пейзаже. Ах, что за по­ложение — не видеть лица своего выражение! Дайте мне отражение! Отражение! Отражение! И Нарцисс, уверенный, что форма его существует где-то, поднима­ется и идет искать те желанные очертания, какие обле­кут наконец его великую душу.

Перед рекой времени остановился Нарцисс. У роко­вой, призрачной реки, где текут мимо один за другим годы. Простые берега, как будто безыскусная рама, ку­да заключена вода, как будто зеркало без амальгамы; там, за ним, ничего, должно быть, не видно; должно быть, там, за ним, распахнется пустота скуки. Тусклый, погруженный в летаргию канал, лежащее почти гори­зонтально зеркало; и блеклую воду его никогда бы не отличить от всей бесцветной стихии, если б не ощуща­лось, как она течет.

Издалека Нарцисс принял реку эту за дорогу и, скучая, совсем один в этой серой мгле, подошел по­ближе, посмотреть, как будут двигаться мимо какие- то вещи. И вот, опершись на раму, склоняется, он над водой в исконной своей позе. Внезапно под взглядом его начинает переливаться на поверхности узкая раз­ноцветная полоска, какая-то видимость — цветы на берегах реки, вершины деревьев, отраженные клочки голубого неба, целая вереница быстротечных образов, ждавших только его, чтобы явиться из небытия, и от взора его обретающих краски. Потом открываются холмы и выстраиваются уступами леса по склонам до­лин — видения покачиваются на волнах, неустанно изменяясь струением вод. Нарцисс глядит восхищен­ный, но не понимает до конца, душа ли его направля­ет поток, или поток сам направляет ее; вода и душа колеблются согласно.

То, куда Нарцисс смотрит, есть настоящее. Из са­мого отдаленного будущего вещи, пока только веро­ятности вещей, устремляются к бытию; Нарцисс ви­дит их, потом они проплывают мимо, в прошлое. Ско­ро Нарцисс замечает, что перед ним все время одно и то же. Он присматривается внимательней, затем размышляет. Мимо проходят всегда одни и те же формы; единственно стремление потока придает им различья. Для чего же их много? либо же для чего они одни и те же? Стало быть, они несовершенны, ес­ли все постоянно начинается сначала... и, думается ему, все они тяготеют и влекутся к единственной пер­возданной форме, райской, кристально чистой — и потерянной.

Нарциссу грезится рай.

I

Рай был невелик; каждая форма в совершенстве своем распускалась здесь лишь однажды; все они по­мещались в одном саду. Был ли рай, или не было его, так ли нам важно? Но если он был, то именно таким. Все в нем кристаллизовалось в нужной стадии цвете­ния, и все устроено было совершенно так, как и долж­но быть. Все замерло в неподвижности, ибо ничего лучшего желать не оставалось. Лишь неспешной силой тяготения свершалось покойно преобразование строй­ного целого.

И оттого что всякий порыв не имеет предела ни в Прошлом, ни в Будущем, Рай не знал становления — он просто существовал от века.

Непорочный Эдем! Сад Идей! Там в четком ритме форм обнаруживалось без труда число их; там всякая вещь была тем, чем казалась с виду; там не требовалось доказательств.

Эдем! волны мелодий веяли там по предначертан­ным кривым; там небо раскинуло лазурь на строго сим­метричной лужайке; там птичье оперенье окрашива­лось цветом лет, а бабочки опускались на лепестки по законам божественной гармонии; роза там была розо­вой, потому что зеленым был жук-бронзовка, который по одной этой причине летел к ней и на нее садился. Все было совершенным, как число, и при чтении само собой делилось на стопы; стройные звуки рождались из соотношения линий; нескончаемая симфония плыла над садом.

В центре Эдема уходил корнями жизни в землю Иг­гдрасиль[[3]](#footnote-3), логарифмическое древо, распространяя по лужайке вокруг густую сень листвы, в которой только Ночь простирала крылья свои. В тени древа, прислонен­ная к стволу, стояла книга Таинств — там читалась ис­тина, какую нельзя не знать. И ветер, шелестевший в листьях древа, весь день напролет разбирал в ней, один за другим, нужные иероглифы.

Адам, исполненный веры, слушал. Один в мире, еще бесполый, сидел он в сени мощного древа. Человек! Ипостась Элохима[[4]](#footnote-4), служитель Божества! Для него, благодаря ему возникают все формы. Восседая в цент­ре волшебного этого действа, смотрит он, неподвиж­ный, как разворачивается оно перед его взором.

Но, зритель по принуждению, начинает он тяготить­ся одним и тем же зрелищем, где нет для него иной ро­ли, нежели смотреть во веки веков. Все это разыгрыва­ется для него, он знает, но вот сам он... но сам он для себя самого невидим. И с той минуты — что за дело ему до всего остального! Ах! увидеть свое лицо! Верно, он могуществен, ибо он творит и весь мир под взглядом его на мгновение замирает; но что знает он о своем мо­гуществе, если достоверного подтверждения ему нет? Созерцая окружающие вещи, он уже не в силах отде­лить себя от них; ведь не знать, где положен тебе пре­дел, — значит не знать, далеко ли ты простираешься! В конце концов, это настоящее рабство, когда не можешь позволить себе ни малейшего жеста, чтобы вся гармо­ния не разлетелась вдребезги. Да и потом, тем хуже! раздражает меня эта гармония со своим вечным согла­сием и совершенством. Одно лишь движение! одно лишь малюсенькое движение, просто, чтобы знать, — какого черта, один-единственный диссонанс! — Эй, ну давай же! Сделай хоть что-то непредусмотренное.

Ах, как хочется схватить, схватить ветку Иггдрасиля, и пускай сломается она в его ненасытных пальцах...

Сломалась.

...Поначалу — чуть заметная трещинка, какой-то вскрик; но вот он прорывается, разрастается вширь, на­прягает все силы, свищет пронзительно и скоро уже стонет бурей. Засохшее древо Иггдрасиль колеблется и трещит; листья его, в которых играли дуновения ветер­ка, корчатся, дрожащие, сморщенные в поднявшемся вихре, и несутся вдаль, — к неведомым просторам ноч­ного неба и к грозным морским пучинам, а вслед за ни­ми летят рассеянные листы, что вырваны ураганом из осыпающейся великой, священной книги.

Возносятся к небу пар, слезы, облака; они пролива­ются на землю слезами и снова поднимутся вверх ту­чей: это родилось время.

И Человек, распавшийся надвое андрогин, ужаснул­ся и заплакал от тоски и страха, чувствуя, как вместе с обретенным полом просыпается в нем тревожное влече­ние к половине своей, почти подобию, к явившейся вдруг перед ним женщине, которую он целует, с которой хотел бы соединиться вновь, — к женщине, что в слепом стремленье воссоздать через себя совершенное сущест­во и покончить раз навсегда с этим отродьем даст про­никнуть в лоно свое незнакомцу из нового племени и не­много погодя вытолкнет в поток лет еще одно существо, такое же неполное и недостаточное в самом себе.

О печальное племя, ты, что рассеешься по этой зем­ле, земле вечного сумрака и молитв! Память о потерян­ном Рае исполнит отчаяния восторги твои, — его ты ста­нешь искать повсюду, — о нем снова и снова будут го­ворить с тобой пророки, и, как теперь, поэты: они собе­рут с благоговением рваные страницы незапамятной Книги, той, где читалась истина, какой нельзя не знать.

II

Когда бы Нарцисс оглянулся, он, думаю, увидел бы зеленеющий берег, быть может, небо, дерево, цветок — что-то неизменное наконец, что длится во времени, но чье отражение, падая на поверхность воды, разбивает­ся вдребезги и неустанно изменяется стремлением волн.

Когда же воды эти остановят свой бег? И застынет наконец покорно зеркало их, и в незамутненном сход­стве отражения откроет наконец —в сходстве сливаясь с ними, — очертания роковых этих форм, — и наконец само станет ими?

Когда же время, остановив свой бег, даст отдых этим текучим струям? Формы, божественные, извеч­ные формы! Вы, жпущие лишь передышки, чтобы явиться вновь, — о! Когда, в какой ночи, в каком без­молвии кристаллизуетесь вы?

Рай все время надо создавать заново; не где-нибудь в далекой Фуле[[5]](#footnote-5) лежит он. Он скрыт под видимостью вещей. В каждой вещи заключена, в вероятности своей, подлинная, гармоничная ее сущность, подобно тому как соль заключает в себе архетип своего кристалла; — и наступает время, когда в ночной тиши сход ят от исто­ков более тяжелые воды и в ничем не потревоженных глубинах расцветут вдали от глаз соляные сталагмиты...

Все стремится к потерянной своей форме; она про­свечивает в вещи, но просвечивает нечистая, искажен­ная, недостаточная в самой себе, — ибо неустанно начи­нает все сначала; ее теснят, сковывают соседние фор­мы, каждая тоже стремится показать себя, — ведь про­сто быть уже недостаточно, нужно доказать, что ты существуешь, — и каждую распирает гордыня. Мгнове­ние — и все переменилось.

Но бег времени есть только бег вещей, и потому вся­кая вещь старается помедлить, сжаться, чтобы не так быстро струился поток и она показалась получше. Зна­чит, бывают эпохи, когда вещи замедляют ход, и вре­мя — так все полагают — отдыхает; и поскольку вме­сте с движением прекращается и шум, все умолкает.

Все ждут; все понимают, что минута трагическая и ше­велиться нельзя.

«Сделалось безмолвие на небе»[[6]](#footnote-6) — таково преддве­рие всякого апокалипсиса. — Трагичны, да, трагичны времена, когда берут начало новые эры, когда скры­лись небо и земля, когда вот-вот отворится книга, запе­чатанная семью печатями, когда вот-вот все оцепенеет в вековечной позиции... но раздается вдруг какой-то не­уместный вопль; на богоизбранных холмах, где, кажет­ся всем, сейчас окончится время, — непременно ока­жутся несколько жадных солдат, что делят одежды и бросают жребий, разыгрывая хитон, — в ту самую мину­ту, когда замирают в экстазе святые жены, и завеса раз­дирается надвое, и готовы открыться все тайны храма; когда все сущее созерцает наконец Христа, который за­стывает на смертном кресте и произносит последнее свое слово: «Свершилось!»...

...А после — нет! опять надо все переделывать зано­во, переделывать вечно, — потому что какой-то игрок в кости не прервал суетного своего жеста, потому что ка­кому-то солдату захотелось выиграть хитон, потому что кто-то не смотрел.

Ибо ошибка, та, из-за которой снова и снова бывает потерян Рай, всегда в одном: в человеке, что думает о себе в тот миг, когда упорядочен смысл Страстей, в гор­деливом статисте, не подчинившемся общему порядку[[7]](#footnote-7).

Каждый день, не иссякая, звучат мессы, дабы воз­вратить испускающего дух Христа и зрителей, застыв­ших в молитве... каких зрителей! — когда бы простер­лось ниц все человечество, — довольно было бы и од­ной мессы.

Когда бы мы были внимательны и умели смотреть...

III

Поэт — это тот, кто смотрит. Что же видит он? — Рай.

Ибо Рай повсюду; не будем доверяться одной лишь видимости. Любая видимость несовершенна: она только невнятно лепечет Истину, какую заключает в себе; По­эт должен понять этот лепет, с полуслова, а после про­изнести Истину сам. И разве что-то иное делает Уче­ный? Он тоже стремится отыскать архетип различных вещей и законы их чередования; он, наконец, выстраи­вает некий мир, идеально простой, где все само собой приходит в порядок.

Но Ученый отыскивает первичные эти формы путем долгих, боязливых умозаключений, через бесчисленные примеры, ибо не проникает дальше видимости вещей и, в жажде достоверности, запрещает себе догадки.

Поэт же знает, что он творец, и угадывает скрытое в каждой веши, и одной-единственной, символа доволь­но ему, чтобы открылся ее архетип; он знает, что види­мость есть лишь предлог, скрывающая ее оболочка, дальше которой не проникает взор непосвященного, но которая указывает нам: Она здесь[[8]](#footnote-8).

Поэт созерцает благочестиво; он склоняется над символом и в молчании спускается глубоко, к самой сердцевине вещей, — и когда в видениях своих различа­ет Идею, подлинное, гармоничное Число ее Бытия, ка­ким держится несовершенная форма, он ловит ее, а по­сле, не заботясь больше о преходящей форме, что обле­кала ее во времени, уже может вернуть ей единствен­но вечную форму, ее, наконец истинную, роковую Форму — райскую и кристальную.

Ибо произведение искусства есть кристалл — час­тичка Рая, где Идея расцветает вновь в наивысшей своей чистоте; где, словно в исчезнувшем Эдеме, есте­ственным и необходимым порядком выстроены все формы во взаимной и симметричной зависимости, где гордыней слова не заслоняется Мысль, — где четок ритм фраз, еще символов, но символов ничем не замут­ненных, где речи делаются прозрачными и обнажающи­ми истину.

Подобные произведения кристаллизуются лишь в безмолвии; но случается, наступает безмолвие и среди толпы, и художник укрывается в нем, словно Моисей на горе Синайской, отгородившись от всего, неподвла­стный ни вещам, ни времени, и его, вознесшегося над суетливым большинством, обволакивает атмосфера света. Медленно и покойно располагается в нем Идея, а потом распускается в сиянии своем, недоступная бегу часов. Она вне времени, и потому время перед нею бес­сильно. Скажем больше: спрашиваешь себя, а быть мо­жет, и сам Рай, недоступный времени, от века сущест­вовал только так, — иными словами, только как Идея...

А Нарцисс пока созерцает с берега видение, явивше­еся ему и преображенное любовным влечением; он гре­зит. Одинокий и ребячливый, Нарцисс влюбляется в не­верное свое отражение; ему хочется ласки, он склоня­ется, дабы утолить жажду любви, над рекой. Он скло­няется, но все волшебные картины вдруг исчезают; на поверхности реки видит он теперь только губы, против его губ, они тянутся к нему, и глаза, свои глаза, они гля­дят на него. Он понимает, что это он сам, — что он по- прежнему одинок, — и что влюбился он в собственное лицо. Кругом лишь пустая лазурь, которую проникают бледные его руки; влекомые желанием, протянулись они сквозь разбитое вдребезги отражение и погрузи­лись в неведомую стихию.

Тогда он приподнимается немножко — и лицо отда­ляется. Поверхность воды снова пестрит красками, и сно­ва возникает видение. Но Нарцисс говорит себе, что по­целуй невозможен: нельзя желать отражение; од ин лишь жест, чтобы завладеть им, — и оно рвется. Кроме него са­мого, никого нет на свете. Что же делать? Созерцать.

Серьезный, исполненный веры, возвращается он к покойному своему одиночеству; склонившись над види­мостью Мира, он — неуклонно растущий символ — за­стывает в неподвижности, смутно ощущая в себе плыву­щие мимо и исчезающие постепенно поколения людей.

Трактат этот, наверное, вещь не самая необходимая. Вначале довольно было нескольких мифов. Потом люди захотели заняться толкованием; гордыня ли это жреца, что хочет раскрыть всем смысл таинств, дабы благогове­ли перед ним, или же пылкое сострадание, та апостоль­ская любовь, какая заставляет сорвать завесу и, осквер­нив, показать непосвященным потаеннейшие сокровища храма, потому что мучительно восхищаться ими одному и хочется, чтобы и другие исполнились благоговения?

1. Посвящается Полю Валери. — Поэт и эссеист Поль Валери (1871—1945) был другом А Жида, участвовал, как и он, в поэтическом кружке Стефана Малларме. В начале 90-х годов они оба обратились к сюжету о Нарциссе: Валери написал поэму «Нарцисс говорит», а позднее еще не раз возвращался к той же мифологической фигуре. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Nuper те litiore vidi* — Вергилий. «Буколики», II, 25. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иггдрасиль — мировое древо в скандинавской мифологии. А. Жид в духе постромантического религиозного синкретизма, отождествляет его с другим вариантом того же мифического мотива — «древом познания добра и зла» из Книги Бытия, плоды которого стали причиной грехопадения Адама; называя Иггдрасиль «логарифмическим» древом, он хочет сказать, что оно, как и это греческое слово, объединяло в себе «слово» и «число». [↑](#footnote-ref-3)
4. Элохим — обозначение Бога в древнееврейской мифологии. [↑](#footnote-ref-4)
5. Фула — по античным представлениям, далекая северная земля, «край света» (возможно, Исландия или Норвегия). [↑](#footnote-ref-5)
6. «Сделалось безмолвие на небе» — Апок VIII, 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. За Формами-Символами — скрыты Истины. Всякое яв­ление есть Символ какой-либо Истины. Единственный долг его в том, чтобы являть эту Истину в себе. Единственное пре­грешение — он отдает предпочтение себе самому. Мы жи­вем, чтобы нечто являть собою. Правила морали и эстетики одинаковы: всякое произведение, в котором не явлена Исти­на, бесполезно, а значит, дурно. Всякий человек, в котором не явлена Истина, бесполезен и дурен. (Впрочем, если взгля­нуть с некоторой высоты, то станет ясно, что Истина явлена во всех, но признавать это следует лишь посмертно.)

   Всякий носитель Идеи стремится предпочесть являемой Идее самого себя. Отдать предпочтение себе — вот в чем ошибка. Художник, ученый не должен ставить себя выше Ис­тины, какую хочет изъяснить — вот вся его мораль; и не дол­жен ставить слово, фразу выше Идеи, которая в них запечат­лена: я бы сказал, что в этом и состоит почти вся эстетика.

   И я отнюдь не считаю, будто теория эта нова; доктрина са­моотречения ничего иного не проповедует.

   Не в том состоит нравственный вопрос для художника, чтобы Идея, явленная им, была более или менее нравственна и в общем и целом полезна; вопрос в том, чтобы она была яв­лена им как подобает. Ибо явлено должно быть все, даже и вещи самые пагубные: «Горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит»\*\*; но: «Надобно прийти соблазнам». Ху­дожник и всякий человек, если он воистину человек, живу­щий рада чего-то, должен заранее принести в жертву самого себя. Вся жизнь его есть лишь продвижение, шаг за шагом, к этой жертве.

   Что же сейчас являть в себе? Это постигается без слов. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.)*

   \*\*...произносит последнее свое слово: «Свершилось!» — Ин XIX, 30. [↑](#footnote-ref-7)
8. Понятно ли, что символом называю я *все, что представ­ляется взору?* [↑](#footnote-ref-8)